

ПРЕДПОНИМАНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЭСТАФЕТЫ

Одним из фундаментальных тезисов герменевтики является утверждение, что понимание и согласие первичны по отношению к непониманию: для того чтобы воссоздать разрушенное понимание, мы должны этим пониманием располагать. Другой тезис состоит в том, что понимание есть явление языковое. Можно показать, что между этими положениями нет интервала: всякое понимание сказывается в речи-говорении и предметной деятельности, конституирующей его. Система языка будет первичной по отношению к речи, поле предпонимания – к мыследеятельности индивида. В этих целях воспользуемся различием лингвистических и экстралингвистических эстафет, предложенным М. А. Розовым. Но прежде обозначим понятийное поле нашей работы, тем более что теория социальных эстафет М. А. Розова, мыследеятельностная методология Г. П. Щедровицкого, универсальная семиотика Ю. М. Лотмана и философская герменевтика Г.-Г. Гадамера ни в одном из исследований, насколько нам известно, не составляли вместе целостной концептуальной схемы.

Вводя и применяя в своей деятельности те или иные понятия, каждый человек с необходимостью реализует, по крайней мере, две традиции: традицию именованья и традицию предметной деятельности с тем, что именуется таким образом. Вслед за М. А. Розовым будем считать, что механизмом жизни традиции именованья являются лингвистические эстафеты – социальные эстафеты, передающие опыт именованья путем копирования образцов деятельности по означиванию и называнию. Они несут от человека к человеку опыт правильного употребления имени. Наряду с традицией словоупотребления

мы реализуем и другую – традицию практического оперирования с объектами, именуемыми таким образом. Опять же вслед за М. А. Розовым будем считать, что механизмом существования этой традиции являются экстралингвистические эстафеты, несущие от человека к человеку опыт оперирования уже не словами, а самими материальными объектами – теми фрагментами мира, которые уже были поименованы.

Социальные эстафеты представляют собой исходный, базовый механизм социальной памяти, заключающийся в воспроизведении непосредственно демонстрируемых образцов. Взаимодействуя между собой, лингвистические и экстралингвистические социальные эстафеты, как правило, сопряжены, т. е. одна из них порождает другую. В «Философских исследованиях» Л. Витгенштейна сопряжённость этих двух традиций получила определение «языковой игры» – целого, состоящего из языка и тех видов деятельности, с которыми он сплетен. Как показал М. А. Розов, путем рефлексивно-симметричных преобразований экстралингвистические нормы легко «перекачиваются» в лингвистические: все, что является нормой практической работы с материальным объектом, может быть превращено и, главное, фактически и превращается в нормы словоупотребления. Поэтому, научившись по-новому практически оперировать с материальным объектом, мы можем эту же операцию использовать как диагностическую, на основании которой этот объект сумеем определенным образом называть. В данном случае изменится смысл слова, обозначающего объект: слово «впитает» в себя новое содержание. В силу этого между лингвистическими и экстралингвистическими эстафетами осу-

ществляется постоянная «перекачка» содержания образцов, язык обогащается, термины приобретают новые смыслы.

Содержание понятия, составляющее смысл слова, в силу отмеченной способности содержания образцов из экстралингвистических эстафет переходить в лингвистические, включает в себя всю полноту способностей человека к оперированию с объектами, обозначенными этим словом. Отсюда можно понять механизм развития содержания понятий об объектах при наращивании разнообразия и масштабов практического оперирования с ними и одновременно механизм обогащения языка, наполнения старых слов новыми смыслами. По словам М. А. Розова, «знание... строится и живет не только в рамках порождающих структур коммуникации, но и в рамках тех эстафет, образцы которых вербализуются» [Розов, 1997. С. 45]. Вербализованные образцы превращаются в текст сообщения, транслируемый от адресанта к адресату, от учителя к ученику. В области своего предметного употребления слово, в известном смысле, творит реальность: развитый механизм социальной памяти использует вербализованные образцы деятельности, активизируемые при помощи речи и языка. Речь – только средство обеспечить функционирование эстафет, которые «всеядны» и могут использовать, в том числе, и невербализованные образцы.

Кроме того, лингвистические и экстралингвистические эстафеты обладают свойством дополнительности двух своих сторон – содержания и механизма. По мере уточнения одной из сторон, другая претерпевает все большую утрату определенности. Если мы абсолютно четко фиксируем содержание эстафеты, то теряем возможность ее воспроизвести или найти того, кто может это сделать или уже сделал. Если же мы находим того, кто воспроизвел «некий» образец, то лишаемся возможности дать точное описание образца. Если мы сами воспроизводим некий образец, мы не можем претендовать на то, что делаем это «точно», «правильно». Либо механизм – либо содержание. Либо мы воспроизводим образец и тогда реализуем механизм социальной эстафеты – либо мы точно определяем образец и таким образом фиксируем содержание транслирующей его эстафеты, лишаясь возможности его непосредственного воспроизведения.

Дополнительность, открытую при описании квантово-механических объектов, Н. Бор переносил на явления социальной и культурной жизни. В частности, он прямо указывал на наличие дополнительности в попытках точного определения слова, с одной стороны, и в практике его употребления, с другой. В 1929 г. в поисках аналогий для квантово-механического принципа дополнительности Н. Бор писал: «Строго говоря, глубокий анализ любого понятия и его непосредственное применение взаимно исключают друг друга» [Бор, 1971. С. 58]. Позднее он повторил эту же мысль: «Практическое применение всякого слова находится в дополнительном отношении с попытками его строгого определения» [Там же. С. 398]. Датский физик поспешил на разъяснения, но нам представляется важным, чтобы приведенные высказывания были детально проанализированы.

«Обратите внимание, – пишет М. А. Розов, – Бор фактически утверждает, что в ходе практического использования слова мы не можем его точно определить, а дав точное определение, теряем возможность практического использования. Ну разве это не парадокс?!

Попробуем показать, что положения Бора имеют под собой достаточно веские основания. Практическое применение слова, вообще говоря, не нуждается в каких-либо правилах, мы просто опираемся на образцы словоупотребления, которые повсеместно нас окружают. Суть, однако, в том, что образцы поведения или деятельности, взятые изолированно, не задают никакого четкого множества возможных реализаций... Образцы всегда существуют в рамках некоторого конкретного контекста, включая как наличие других образцов, так и определенную предметную ситуацию. Контекст, однако, постоянно меняется как в силу внешних, так и имманентных факторов. В принципе каждое срабатывание эстафеты, порождая новые образцы, меняет и контекст их дальнейшего воспроизведения. Итак, первый вывод, который можно сделать, – практически используя то или иное понятие, мы не можем определить точные границы его применения, ибо этих границ просто не существует. Все зависит от конкретных ситуаций, от конкретного контекста словоупотребления» [Розов, 1997. С. 60].

Всякий раз, используя принцип дополнительности содержания транслируемого эстафетой образца и механизма эстафеты, транслирующей это содержание, мы должны пытаться найти золотую середину в поисках меры относительной точности и определенности описания как содержания, так и механизма эстафеты. Не очень точно определив содержание понятия, мы имеем возможность учесть большее число участников лингвистической или экстралингвистической эстафеты, «схватить» в своем описании более длинную, чем при более точном описании, «волну», т. е. более долгую и более густо «населенную» участниками социальную эстафету данного словоупотребления. И, наоборот: чем более точное определение понятия мы имеем, тем меньшее количество участников может быть включено в сопряженные лингвистические и экстралингвистические эстафеты его употребления. Лингвистические эстафеты задают онтологию коммуникативных intersubъективных взаимодействий, а именно: двух коммуникативных систем текстов, анализируемых Ю. М. Лотманом, – коммуникативной системы «Я – ОН» и системы автокоммуникации «Я – Я». Экстралингвистические эстафеты выводят сетевые структуры общения в объективное по отношению к коммуницирующим субъектам поле предметной деятельности, в котором слово и знак становятся правилом, задающим образец жизни и деятельности, обнаруживают навык понимания.

Пояснить нашу мысль помогает пример Г.-Г. Гадамера, иллюстрирующий, почему в основе смысла отдельного слова всегда лежит целая система слов. Нельзя сказать: «Я ввожу в употребление такое-то слово». Тот, кто полагает, что это так, сильно себя переоценивает. В лучшем случае мы можем предложить лишь некоторое выражение или установить какой-нибудь специальный термин, но станет ли это выражение или этот термин словом, войдет ли он в состав лингвистических и экстралингвистических эстафет как образец естественного «словоупотребления», зависит не от нас. Жесткое определение делает невозможным на практике идеально правильное обхождение с тем, что им определено. Попробуйте управиться с материальной точкой или построить геометрически безукоризненную пирамиду! Когда же мы применяем данные понятия на прак-

тике, мы констатируем абстрактность их содержания, и чем более снижаем требования к соответствию между содержанием понятия и его реальным употреблением, тем большее количество участников эстафеты получаем. Наше понятие, выраженное словом, само прокладывает свой путь, входя в состав эстафет, стихийно получая собственное применение на практике, быть может, далекое от того идеала, каким оно нам рисовалось при определении его содержания.

Г.-Г. Гадамер пишет: «Слово само себя вводит. Лишь тогда оно становится словом, когда оно вошло в привычное коммуникативное употребление. Происходит это не потому, что кто-то, предложив это слово, ввел его в употребление, а потому, что оно уже “введено”. За самим этим оборотом (“словоупотребление”) кроется поверхностное отношение к сущности языкового опыта мира. Как будто слова лежат у нас в кармане и, захотев на что-то их употребить, мы их оттуда извлекаем; как будто употребление слов – в произвольном распоряжении того, кто эти слова употребляет. Способ бытия языка – речь, говорение, а говорящие – это все мы, хотя и не один из нас в отдельности» [Гадамер, 1991. С. 58]. Вводящее себя слово – это то слово, которое говорится или слышится. В то же время это не есть слово, которое мы получаем в результате разбора предложения на части речи. Это слово не есть имя, так же как речь не есть простое название-наименование, «глухой коридор между нами и миром». Слово, о котором идет речь, обладает реальностью поля предметной деятельности, или предпонимания: оно доступно нам как мельчайшее смысловое единство. Смысловое единство более крупного порядка, единство текста исследовали Ю. М. Лотман [2004] и Г. П. Щедровицкий [1995]. Как показывают семиотика и герменевтика, множество выражений одной и той же мысли, можно, если смотреть на дело с точки зрения деятельности по означиванию и называнию вещей, подвергнуть расчленению и дифференциации, однако чем менее изолированным при этом будет отдельное выражающее ее слово, или знак, тем более индивидуальным окажется значение выражения.

Итак, слова, высказывания, тексты не возникают на пустом месте: понятийное окружение создает семиотическое напряжение поля предпонимания, или, говоря на языке теории

социальных эстафет, любой образец деятельности и словоупотребления заранее вписан в состав целого, в рамки всего универсума эстафет. Эстафеты «живут» лишь в контексте друг друга. *Поле предпонимания и есть, таким образом, универсум эстафет*: мы неизменно вовлечены в те или иные традиции жизни и деятельности; делаем что-то мы и перед тем, как начинаем впервые мыслить и говорить. Транслируемые эстафетами образцы жизни, деятельности и поведения – объективное содержание предпонимания. В поле предпонимания, имеющем практическую природу, каждая категория, суждение или даже текст играют роль правила, задающего образец жизни, деятельности, поведения, фиксируют навык, или способность, понимать. Фукидид, описывая последствия чумы в осажденных Афинах, обнаружил, как изменилось привычное значение слов в оценке человеческих действий. Храбростью стало считаться то, что прежде было безрассудной отвагой, трусостью – осмотрительность, малодушием – умеренность. Безудержная вспыльчивость и гневливость были признаны достоинством, а интриганство – пронизательностью. Совершенно исчезли из обихода вытесненные жаждой наслаждений самопожертвование, закон человеческий и страх перед богами. Как видим, образцы деятельности не даны раз и навсегда, но претерпевают значительные изменения и переоценку в условиях подвергающейся внешним воздействиям социокультурной среды.

В фундаментальной онтологии М. Хайдеггера предпонимание есть способ развертывания понимания как онтологического определения человеческого бытия. В поле предпонимания реализуются процессы мышления и понимания, для которых один за другим очерчиваются все новые горизонты познания. Конечно же, предпонимание не существует вне языка: любая деятельность, будучи содержанием социальных эстафет, становится своим собственным образцом в универсуме эстафет – «словом» или знаком, указывающим на себя и ни на что другое. Мы исходим из отрицательного ответа на вопрос, поставленный Г.-Г. Гадамером: «Разве есть в языковой реальности нечто, что не было бы знаком и не являлось бы моментом процесса понимания?». «Нет, – отвечаем мы, – в языковой реальности нет ничего такого, что не было бы знаком и не являлось бы моментом

процесса понимания». Существовая как языковая реальность, предпонимание не нуждается в рефлексии и от нее не зависит. Более того, рефлексия и другие очевидности сознания («понимания») возникают из и на основе предпонимания. Из эстафетных структур воспитания и обучения появляется человек действующий и познающий. Или, что то же самое: из поля предпонимания – человек понимающий, которого по традиции называют человеком разумным.

Из поля предпонимания возникает речь, которая, хотя и выполняется существами сознающими, по своему происхождению – «действие глубоко бессознательное». За примером снова обратимся к основателю философской герменевтики. Г.-Г. Гадамер рассказывает случай со своей маленькой дочерью, которая, выслушав, как пишется слово «земляника», удивилась тому, что перестает совсем понимать это слово, когда слышит его «вот так». Однако когда она забывает о нем, то оказывается «опять у него внутри». Маленькая девочка метафорически зримо описала то, что мы называем присвоением инвариантного остатка знака, пониманием. Быть «внутри слова» – значит, различая границы его предметного употребления, не различать горизонты, в которых оно может истолковываться. Или, на языке теории социальных эстафет: реализовывать лингвистическую и экстралингвистическую социальные эстафеты его языкового и предметного употребления, не задаваясь вопросом о содержании эстафет. «Пребывание “внутри слова”, когда на него уже не смотрят как на предмет, – отмечает Г.-Г. Гадамер, – есть, безусловно, основной модус всякого языкового процесса. В языке заключена хранящая и оберегающая сила, препятствующая рефлексивному схватыванию и как бы укрывающая в бессознательном все, что в языке совершается» [Гадамер, 1991. С. 59–60]. Как только мы начинаем рефлексировать по поводу содержания образца – смысла понятия, высказывания, текста, смысла нашего действия, то пытаемся исчерпать его смысл наблюдаемым словоупотреблением. В то время как присущий ему смысл не исчерпывается своим наличием, присутствием здесь и сейчас. А это, собственно, повторяет мысль М. А. Розова о том, что мы не можем определить точные границы применения того или иного понятия, используя его на прак-

тике, ибо этих границ попросту не существует. Что же существует? Существует универсум эстафет, или поле предпонимания, из которого в результате индивидуальной и коллективной мыследеятельности выкристаллизовывается соответствующий этой мыследеятельности смысл. В работе «Понимание и культура» [Соловьёв, 2005] именно этот смысл, или культур-интендум социокультурного окружения–контекста, стал предметом исследования.

Что образует структуру заданного традицией предпонимания? В качестве основного элемента Г.-Г. Гадамер вычленил «пред-рассудок» – дорефлективное содержание сознания. «Пред-рассудок» – это реальность коммуникации, в которой адресат сообщения не обладает представлением *я мыслю*. Термин, предложенный Г.-Г. Гадамером, несколько неудачный, поскольку легко допускает путаницу опыта жизни человечества, увековеченного в «пред-рассудке» («предмнении», «предвосхищении», «предвидении», по М. Хайдеггеру), с общепринятым словоупотреблением понятия «предрассудок», подразумевающим, что суждение выносится до опытной проверки фактами. Такую ошибку совершает И. Р. Габдуллин в работе «Категория предпонимания в философской герменевтике» [Габдуллин, 2001]. Полагая, что «затрудняют познание истины не сами по себе наши предмнения, предвосхищения, предрасположения», он требует определения «соответствия этих указанных элементов предструктуры понимания действительному положению дел, поставленным целям, а также и средствам их осуществления» [Там же]. Ошибка заключается в том, что предпонимание и «действительное положение дел» по сути одно и то же. Нет никакого «действительного положения дел» вне универсума социальных эстафет, в котором «пред-рассудок» – один из элементов структурной организованности. На сегодняшний день в содержание «пред-рассудка» наука, философия, религия, общественная и политическая жизнь вложили законы природы, права человека, категорические императивы, либеральные и демократические свободы, террористическую угрозу и даже опыт коммунистического строительства. «Пред-рассудок» – наследие всей мировой культуры и творческих форм деятельного освоения мира. В нем содержится интенционально неосоз-

наваемое знание о том, как выжить в полной опасности современной действительности. Этим знанием мы обязаны предшествующим поколениям людей. На наш взгляд, в отечественной традиции философствования терминологически уместнее использовать понятие социальной памяти, хранящей образцы жизни, деятельности и поведения, «отшлифованные» веками родового опыта человечества. Эти образцы усваиваются индивидом в его мыследеятельности, как правило, бессознательно, несмотря на многочисленные инструкции, вербализуемые оттуда же, из социальной памяти, из «пред-рассудка», в процессе воспитания и образования.

Теперь выясним, кто является адресантом сообщения, иными словами, кто задает образец? Очевидно, что в общем случае эту роль играет культура, или весь универсум социальных эстафет, взятый с точки зрения предлагаемых для копирования образцов жизни, деятельности и поведения. Образец возможно рассматривать как смысл или содержание сообщения, передаваемого от одного участника эстафеты другому. Между «адресатом» и «адресантом» социальных эстафет в ходе совместной мыследеятельности организуется сложное субъект-субъектное взаимодействие, которое в терминологии герменевтики характеризуется как игра между движением традиции и движением интерпретатора, адресата сообщения. Наш тезис выстраивается в контексте нескольких теорий. Термины «адресат» и «адресант» сообщения взяты нами у Ю. М. Лотмана и, на наш взгляд, могут быть использованы применительно к теории социальных эстафет М. А. Розова с целью описания трансляции образцов деятельности и поведения как текстов сообщений в коммуникативных системах «Я – ОН» и «Я – Я». В то же время конкретика исследования субъект-субъектных взаимодействий опирается непосредственно на все то разнообразие культурных традиций и идей, большей частью неосознанно усваиваемых социальным субъектом, какое было осмыслено Г.-Г. Гадамером в категориях предпонимания и «пред-рассудка».

Понимание наступает, когда в результате диалога и коллективной мыследеятельности хранящее традицию предпонимание совмещается с активной, играющей саму себя языковой игрой. Прежде всего, это игра содержания сообщения (образца деятельности) со

своим адресатом-интерпретатором. Нередко, даже когда последний вовлечен в совместную мыследеятельность, смысл сообщения остается ему непонятен. Обратимся к эпизоду из романа-фантазии Б. Шоу «Пигмалион». На посылку Пикеринга: «Раз девушка намерена довериться вам на полгода, то есть на время вашего опыта, она должна ясно понимать, что делает», – Хигинс отвечает: «Невозможно! Она решительно неспособна понимать что бы то ни было». После чего не без лукавства добавляет: «Да и вообще, кто из нас понимает, что делает? Мы бы никогда ничего не сделали, если бы понимали, что делаем». Несмотря на все лукавство заявления профессора, нельзя не согласиться с ним в следующем: индивидуальная и коллективная мыследеятельность может осуществляться и, действительно, зачастую осуществляется без понимания того, что, собственно, происходит. «Надо возделывать свой сад», – мораль приемлемая в системе коммуникации турка-садовника с Кандидом или автокоммуникации Кандида с самим собой, но не приемлемая в диалоге культур и тем более при определении целей общественного развития, если последние некоторым образом не заданы кем-то еще. Такое положение не просто умаляет достоинство человека разумного – опасность непонимания нельзя недооценивать: «запрет на мышление» исключает ментальную толерантность и перспективу рефлексивного выхода.

В то же время активная, играющая саму себя языковая игра предоставляет еще одну, неожиданную, но наиболее востребованную, с нашей точки зрения, возможность достижения понимания. Понимание надежнее возникает в том случае, когда адресат сам вступает в игру с образцом-сообщением. «Игра» начинается в поясе чистого мышления интерпретатора на уровне творческих догадок и воображения и продолжается в поясе мысли-коммуникации, связывающей «озарения» адресата с предметной деятельностью. Олимпийским героям можно было уподобиться через смех, но если для смеха не оставалось места – путем самоубийства. Путь Геракла на Олимп прошел через самосожжение. В эпоху Римской империи игра традиции зашла столь далеко, что прямая стилизация жизни людей под мифические деяния приносила почет и уважение. Любимец императора Адриана, юноша Антиной добро-

вольно утопился в Ниле во здравие своего обожателя и был обожествлен. В иронии Сократа слышен отголосок смеха богов, его смерть подобна самоубийству героев. Образец жизни, благодаря которой избранные причислялись к лику богов и героев, был известен новым адресатам через повествование о деяниях предшественников-учителей. Тот, кто желал повторить героический путь, видоизменял само сообщение и образец настолько, насколько это было необходимо в силу новых социальных условий, и насколько он сам понимал суть дошедшего до него текста. Ученик Сократа киренаик Аристипп учил наслаждаться всем и не связываться ни с чем; в его устах философия преобразилась в искусство непринужденного смеха. Ученик Аристиппа Гегесий, определив, что наиболее полную свободу от страданий дает смерть, находил доводы, чтобы убедить своих слушателей немедленно покончить счеты с жизнью. По замечанию С. С. Аверинцева, «если это придумано, то неплохо придумано – проповедь смеха и впрямь органично переходит в проповедь самоубийства» [Аверинцев, 2004. С. 75]. Памятными из древней истории остаются самоубийства Демосфена, Сенеки, Брута и Кассия.

Не существует одного определенного акта деятельности: его выделение – это всегда проблема и проблема, решаемая лишь условно. Акт деятельности получает свою определенность в акте осмысляющей его рефлексии или акте понимания, встроеном, но тем не менее как бы «надстраиваемом» над самой деятельностью. Примечательно, что в приведенном выше примере иронии и добровольной смерти древние самоубийцы сопровождали свой уход внушительной сентенцией, как то: «Мы совершаем возлияние Юпитеру Освободителю; смотри и запомни, юноша» при вскрытии вен Тразея. Укором звучат слова Тацита по поводу молчаливого самоубийства заговорщиков, которые ушли, «не свершив и не высказав ничего достопримечательного». Когда рефлексия невербализованна или не состоялась, остается только смотреть на «следующий» акт, чтобы понять цель и смысл предыдущего. Таким образом, не акт, а цепочка актов нужна для определения деятельности.

На наш взгляд, эта цепочка актов, составляющих единое целое, включена Г. П. Щедровицким в понятие «мыследеятельность»,

которое конституирует понимание как систему, ассимилирующую и ассимилируемую мышлением. Специфический системный анализ процессов мысли-коммуникации, понимания, рефлексии, чистого мышления и мыследействования как частичных и образующих подсистем внутри полисистемы мыследеятельности позволяет наглядно продемонстрировать как ментальную, так и социокультурную феноменальность понимания. В самом деле, отдельный акт деятельности не может именоваться мыследеятельностью в силу неопределенности цели его свершения, которая всегда находится как бы вне него, предшествуя, сопровождая и завершая его реализацию. Мыследеятельность представляет собой не что иное, как полисистему актов мышления, коммуникации и предметной деятельности, связанную в единое целое целью, задачами, средствами и материалом работы, а также методологической позицией осуществляющего ее субъекта. В контексте этого целого открывается возможность изучения понимания как целостного коммуникативного феномена сообщаемости смысла в условиях прагматически значимого присвоения инвариантного остатка знаков и текстов.

Подведем итоги. Пространство языковой игры – пространство лингвистических и экстралингвистических эстафет – «размечено» на «ячейки» социальной памяти. Подобно шахматной игре, где фигуры совершают перемещения только в соответствии с правилами, которым подчиняются и которые были изобретены вместе с ними, движение традиции и движение интерпретатора по этим «ячейкам» целиком и полностью спроектированы предпониманием как источником всякого языкового опыта и целенаправленной деятельности. Согласно М. А. Розову, «понимание – это только некоторая феноменология, за которой скрывается мир социальных эстафет» [Розов, 1997. С. 25]. Мы читаем текст и понимаем его, хотя текст сам по себе – это еще не знание, но просто пятна типографской краски. Утверждение о том, что «золото – драгоценный металл», мы с полным правом считаем знанием, хотя очень не-

многие могут отличить золотое кольцо от подделки. С точки зрения философа, знание появляется, когда мы приписываем некоторому объекту или ситуации деятельности определенные признаки, которые связываем с определенными способами действий. Его вывод состоит в том, что «все упирается в те эстафетные структуры, в рамках которых мы воспринимаем указанный материал», «знание... – это достояние не отдельного человека, а общества в целом» [Там же. С. 25, 47]. Именно феноменология понимания становится очевидной, когда мы выявляем содержание сообщения, цель и смысл деятельности. Анализируя строение знака или знания, мы пытаемся объяснить возможности того или иного понимания. Результатом нашего анализа будет «волновая» семиотика или «волновая» эпистемология. А поскольку феномен понимания имеет природу социальной «волны», мы вправе утверждать, что «на выходе» получаем еще «волновую» герменевтику и теорию деятельности.

Список литературы

Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. СПб.: Азбука-Классика, 2004. 480 с.

Бор Н. Избр. науч. тр. М., 1971. Т. 2.

Габдуллин И. Р. Категория предпонимания в философской герменевтике // *Credo: Теор. филос. журн.* 2001. № 1 (25); <http://www.orenburg.ru/culture/credo/25/5.html>

Гадамер Г.-Г. Язык и понимание // Г.-Г. Гадамер. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. С. 43–60.

Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб.: Искусство-СПБ, 2004. 704 с.

Розов М. А. Теория социальных эстафет и проблемы анализа знания // *Теория социальных эстафет: История – Идеи – Перспективы* / Отв. ред. С. С. Розова. Новосибирск, 1997. С. 9–67.

Соловьёв О. Б. Понимание и культура. Новосибирск: НГУЭУ, 2005. 312 с.

Щедровицкий Г. П. Избр. тр. М.: Школа Культурной Политики, 1995. 800 с.

Материал поступил в редколлегию 12.12.2006